

Софья Митрохина

**Из записной книжки филолога, или
Филологический факультет МГУ в жизни моей семьи**

I. «До» и «после» Лермонтовского семинара¹

Июнь 1958 года. Я подаю документы для поступления на филологический факультет МГУ, я – в стенах «альма-матер». Прямо с поезда, в белом бальном выпускном платье. Конкурс – 12 человек на место. Я немного колебалась: мне хотелось на журналистику, но там конкурс – 25 человек на место. Еще мне хотелось на романо-германское. Но я побаивалась. Поскольку ещё в Ульяновске учитель логики предупредил меня, что москвичи имеют репетиторов, а у нас даже не знали, что это такое. Но я люблю литературу! Значит – филологический факультет.

Как мы учились в студенческие годы? Как нам удавалось сочетать увлечения молодости с выполнением заданий?

По-всякому. Иногда – прекрасно, иногда личные переживания сильно мешали.

О наших выдающихся ответах на экзаменах ходили слухи и легенды.

Вот, например:

Экзаменатор: - Объясните, что значит «Ренессанс»?

Студент: - Это лошадь Дон-Кихота.

Или (мое собственное наблюдение): профессор Р. М. Самарин слушает ответ одной студентки русского отделения:

Студентка: - Таким образом автор развинчивает своего героя..

Самарин: -Что, что?

Студентка (нерешительно): - Развинчивает героя...

Самарин: - А как? (делает вид, что что-то отвинчивает). - В какую сторону? Вот в эту сторону или в ту?

¹Часть первая опубликована в сб. «Время, оставшееся с нами». Филологический факультет в 1953-1958 гг. Воспоминания выпускников», Москва, Изд-во МГУ, 2004, стр. 85 - 93.

Студентка трагически молчит...

Самарин считался очень строгим, но на этот раз сжалился и тройку все-таки поставил.

А шалости, розыгрыши? Ну конечно! Без них студенческая жизнь немислима. Помню, как студенты из общежития, на первых порах помогая студентам-иностранцам изучать русский язык, научили одного из них приветствовать встречаемых по утрам в коридоре словами: «Доброе утро, мартышка».

Любовные истории потрясали наш курс. Некоторые случаи были очень драматичны, с различными перипетиями, как и положено в «лав-стори». Например, родители одного мальчика спрятали его паспорт накануне его похода в ЗАГС с дамой своего сердца. Пришлось ему выправлять новый документ и ждать. Он дождался: Любовь побеждала родительскую Волю.

О самых возвышенных филологических любовных историях - в абстрагировано-романтическом, литературно-обобщённом виде - я узнала, едва переступив порог четвертого этажа на Моховой, где мы занимались. Это было чуть ли не первого сентября 1953-го года. В коридоре висела газета об ИФЛИ - Институте Философии, Литературы и Искусства, который считался предшественником нашего филологического факультета в советскую эпоху. Почти весь состав ИФЛИ в 1941-ом ушел в ополчение, многие студенты и преподаватели погибли на фронте. Погибли также молодые, подающие надежды поэты Михаил Кульчицкий и Павел Коган.

Стихи Павла Когана я и запомнила. Это был его перевод из Гейне:

Богу равен, кто впервые, пусть несчастливо, - влюбился.

Но кто влюбится вторично, и - без счастья, тот - дурак.

Я - дурак, конечно, дважды: я влюблен и - без ответа...

Небо, звезды - все смеются. Я смеюсь. И - счастлив тоже.

Эта газета была для меня открытием о том, какие замечательные люди учились здесь недавно. Эта газета стала моей «человеческой планкой».

Ну, а о Гейне большинство из нас в 17 лет знали только понаслышке. Вообще наше школьное образование осуществлялось строго в рамках дозволенности. И когда однажды, возвращаясь в Москву из Ульяновска, я увидела в соседнем купе студенческую кампанию с гитарами, услышала их смелый, совсем не классический, репертуар, моему удивлению не было предела. И – восхищению тоже. Их смелостью. Они пели:

Нам электричество сделать все сумеет,
Нам электричество тьму и мрак развеет.
Не будет больше школ – мы так будем учиться,
Не будет пап и мам – мы так будем родиться!
Не будет акушеров, не будет докторов!
Нажал на кнопку – чик-чирик
И человек готов!

И еще: На заборе сидит кот: ой, здрасте!

И глотает кислород: ой, здрасте!

Много у нас вопросов! Каждый из нас – Утесов!

Мягко говоря – это были неформальные сочинения. Но очень привлекательные. А сколько раскованности... Я жалела, что не была на такое творчество способна.

Однако совсем другая, романтическая, выдержанная в печальных классически-грустных тонах песня – гимн нашего факультета, по-настоящему волновала меня, особенно вот эти слова: «Мы хотели с тобой найти в жизни счастья планету – мы прошли половину пути – ну, а счастья все нету». В 17 лет часто кажется, что половина пути позади... И что счастья – «нету».

Запомнилась ещё одна, чисто фольклорная песенка, правда, стилизованная кем-то под фольклор. Она была выбрана нами как опознавательный знак нашего курса. Это про некую Машку и её неверного возлюбленного, который, когда «дёвки» собрались его побить, клянётся

Машке в верности. Эта песенка осталась на всю жизнь в моем репертуаре. В качестве безальтернативного и победного шлягера.

К сожалению, у меня никогда не было той степени незастенчивости, которая позволяла бы, после окончания университета, хоть иногда, звонить нашим замечательным преподавателям, благодарить их, советоваться. Я этого не делала и не жду такого от своих теперешних выпускников. Но удивительно: в течение всей моей, теперь уже достаточно долгой, жизни, светлые лица наших преподавателей из МГУ всегда живут в памяти. Вспоминаются их слова, фразы, наставления, особо удачные лекции. Их способность прощать нам наше невежество, заносчивость, небрежность. Их поразительно уважительный тон по отношению к нам, студентам, часто – незаслуженно уважительный. Но этот тон приподнимал наш самооценку, учил уважать окружающих, внушал, что ты – на многое способен. А потом и мы несли в жизнь такую же ноту уважения к людям.

Что касается всеми любимых преподавателей, Сергея Михайловича Бонди и Владимира Николаевича Турбина, – они обладали способностью видеть и передавать нам поэзию восприятия не только литературы, но и жизни.

Этих наших преподавателей я считаю легендарными, а встречу с ними – большой удачей своей жизни.

Владимир Николаевич Турбин был мастером блистательных метафор. Многие его метафоры и парадоксальные формулировки на всю жизнь западали в сознание, странно будоражили, заставляли соглашаться или – вести полемику. Тайный смысл одного парадокса я, например, открываю для себя всю жизнь: он сказал мне о «мудрости посредственности». Тогда перевернулись все мои представления об оценке человека: то, что мы порою клеймим словом «посредственность» – может оказаться на самом деле талантом жизни.

Недавно, в беседе со мной наша однокурсница (а ныне – декан филологического факультета МГУ) Марина Ремнёва сказала мне о Турбине,

что встреча с ним была самым ярким её впечатлением от филологического факультета: «Меня поразило его отношение к литературе. Его взгляд на литературу произвел на меня такое впечатление, что я не решилась пойти в литературоведы, боясь быть недостойной его» Я спросила тогда, чем же он более всего запомнился? И она ответила: «Простотой. И неординарностью. Уже на первом занятии он задал нам вопрос: «Чем объединены «Повести Белкина»? Почему Пушкин соединил эти, в общем-то, пять разных сюжетов под единым названием?». Мы тогда долго думали над ответом, но так ничего и не придумали. А на следующем занятии он объяснил нам: «В каждой повести главную роль играет случайность, от случайности зависит всё». Я поняла тогда, что сама случайность может быть главным героем литературного произведения. Он всем нам тогда задал планку, он поставил нам, студентам, мышление, научил думать нетрафаретно».

В начале 60-ых (благословенное время первой оттепели) вышла блестящая книжка В. Н. Турбина «Товарищ время и товарищ искусство». Мы все читали эту книгу, охотились за ней, дарили её друг другу. А Марина рассказала мне недавно, что она «не только читала эту книгу, но и присутствовала на разборательстве этого издания на филологическом факультете. Я была тогда аспиранткой. Против Турбина выступали очень страшные люди – наши же преподаватели той поры. Хотелось зареветь от отчаяния. Почему-то вспомнились тогда строчки из стихов Маяковского: «Так, должно быть, жевал вымирающий ихтиозавр случайно попавшую в челюсти фиалку».

После выхода этой книги начались для Турбина долгие годы замалчивания, гонений и непечатания.

В 80-ых годах я работала в редакции художественной литературы издательства «Московский рабочий» и пыталась утвердить в плане изданий новую книгу В.Н. Турбина. Меня вызвал директор и сказал: «Литературоведение? Зачем нам это, лапочка?». Незадолго до своей кончины, уже в период последних месяцев своей жизни, в перестроечные годы, Турбин снова принес нам заявку на книгу. Заявку утвердили, но нашего преподавателя уже не стало.

Он как-то мне сказал, во времена глухого застоя:

- Я ведь терпелив, 20 лет жду своего часа. Меня нигде не печатают,

и терпение мое иссякает.

Он говорил, что считает себя биографом М. М. Бахтина и когда-нибудь издаст о нем книгу. Часто вспоминал, как пятнадцатилетним мальчиком работал почтовым служащим в почтовом вагоне, как тяжело и опасно было доставлять военные письма – порой под бомбежками. Он хотел когда-нибудь написать об этом. Но Турбина «замалчивали», он был неуютен.

Однако присущий ему юмор никогда не покидал его, и, следуя этой черте своего характера, Турбин вывесил на кухне портрет своего главного гонителя... среди связок лука, чеснока и бутылок с подсолнечным маслом.

Уже когда его не стало, на филологическом факультете вышло новое, расширенное издание книги нашего преподавателя «Пушкин, Гоголь, Лермонтов». А в журнале «Знамя» напечатали роман В.Н. Турбина «Я Воздвиг Памятник». Он работал над этим романом много лет и сказал как-то, что каждый филолог в душе хочет стать писателем. Я согласилась с ним, но и тогда, и сейчас считаю, что писать могут многие, но хорошо преподавать – это дарование редкостное.

Нас воспитывали по принципу: «критика и самокритика – движущая сила нашего общества». Мы в этот принцип безусловно верили и на собраниях резко критиковали всех и вся, нисколько не сомневаясь в правоте коллективного мнения. Ведь, как сказал поэт: «единица – ноль, единица – вздор. Голос единицы – тоньше писка. Кто его услышит? Разве – жена. И то, если не на базаре, а близко». Критиковали, например, неуспевающих студентов, их внешний вид, подражание Западу, буржуазную моду, неучастие в общественной жизни и пр. Нас не учили, что всегда надо дать шанс провинившемуся, что не надо обрушивать на него грубый и беспощадный кулак общественного мнения. Дело ведь доходило и до исключения студентов.

Где же было таким гонимым искать защиты? Да всегда у профессора Бонди. Он безоговорочно давал всем прекрасные характеристики – ну, например, писал о том, что данный студент подает большие надежды и в

будущем непременно проявит себя на поприще науки... Да мало ли чего еще. Ему, правда, в этих случаях начальство не верило, но – документ есть документ. А мы с удивлением обнаруживали: дашь человеку шанс, не заклюёшь – и у него может появиться возможность взять второе дыхание. В преподавательской доброжелательности тоже проявлялась незримая педагогика С.М. Бонди.

Объясняя мне материал на одной из консультаций по моей курсовой работе о Пушкинском «Каменном Госте», Сергей Михайлович упомянул про ОПОЯЗ, в состав которого он входил в 20-30-ые годы, про гонения на это объединение, про особые приёмы, которыми пользовались критики-«разоблачители».

Так, в 1937 году один из них напечатал в центральной прессе разгромную статью, которая могла бы наверное, дорого стоить Бонди : автор доносительства приписал Сергею Михайловичу слова, против которых он и возражал на своей лекции (или – в статье?). Я наивно спросила, почему Сергей Михайлович, известный и уважаемый пушкинист, не написал опровержения в Центральную Прессу. «Но ведь все обо всем знали. Зачем же отвечать?»- ответил он.

Эти его слова я тогда не поняла и подумала: « Ведь за правду надо бороться до конца. Как Павел Корчагин» (я выбрала Павла Корчагина, потому что в отношении Павлика Морозова у меня уже тогда были серьезные сомнения. Дело в том, что я боготворила своего отца и не представляла себе, как это - донести на него, на своего отца?). Но позже, когда я узнала, куда попадали люди, вступавшие в полемику с Центральной Прессой, ответ Сергея Михайловича стал мне вполне ясным.

Он страстно любил классическую музыку (его дочь и его жена были пианистками), он любил мелодику русского языка, русское стихосложение, онегинскую строфу, пушкинские ямбы и хорей, открытия опоязовцев. Как, наверное, мучительно было для него слышать речь нашего поколения –

людей, воспитанных на канцелярском («лагерном», как говорил Корней Чуковский) сленге.

Помню, как Сергей Михайлович на одном из семинаров рассказал нам о посещении хозяйственной лавочки, открывшейся возле его дома. Над входом туда висела новенькая вывеска: «Мыломоющие средства». Отстояв свою очередь – а мы тогда за всем стояли в очереди! – Бонди приблизился к продавщице. Как всегда при обращении к даме, он улыбнулся своей очаровательной улыбкой серебряного века и почтительно спросил:

- Милая девушка, ну как же так, скажите своему начальству: это не по-русски - «мыломоющие средства»...

Ответ был неожиданным:

- Не срЕдства, а средствА! (Сказано было с ударением на последнем слоге).

Мы уже закончили МГУ, когда Нина Шевчук, приехавшая из Венгрии, пригласила меня навестить вместе с нею Сергея Михайловича. Он жил тогда в бетонно-башенном доме, стиля «новый модерн образца 1966 года». Этот модерн, по сегодняшним меркам, – унылый слепок с архитектурных построек стран тогдашнего третьего мира. Но в 1966-ом данное железобетонное чудовище казалось нам шикарным намеком на будущую архитектуру космического века. И конечно, профессор Бонди должен был получить такое шикарное жильё (отдельная квартира с крошечной кухонкой) вместо своей двухкомнатной коммуналки на Чистых прудах, почти «у Харитонья в переулке». Сам он шутивно рассказывал нам о первом визите управдома в эту их новую квартирку, который почтительно и философски произнес:

-Да-а, этот наш дом – только для высшей прослойки!

(Для тех, кто уже, к счастью, этого не знает: «прослойкой» официально называли интеллигенцию, в отличие от почтительного – «рабочий класс»).

Итак – мы в гостях у Сергея Михайловича.

Как всегда, Бонди был очень радушен. Мы сидим в своих модных тогда мини-юбках на этой самой кухонке (о, неизменный уют московской жизни!), пьем чай. А он рассказывает нам, может быть, о пустяке, - моде времен своей молодости.

Однако, дело в том, что любой пустяк, которого касался Бонди – это только видимый пустяк. А на самом деле – даже незначительная деталь такого рассказа ведет нас в духовное путешествие в неизведанное. Сейчас, на кухне у профессора Бонди, мы путешествуем в прошлый век, в его моду, в его эстетику, в его духовные ценности. И, как всегда, конечно, попадаем в гости к Пушкину (ибо, как я уже говорила, для Бонди с Пушкина «все началось и... закончилось»). Итак, профессор нам рассказывает о моде серебряного века, о длинных женских платьях, о «пушкинской» ножке в изящной туфельке, которую можно разглядеть благодаря приподнятому слегка краешку платья... всего за секунду, за миг, пока дама выходит из кареты или пролетки, или – из тихоходного автомобиля тех не техногенных лет. Далее он вспоминает о том, как его юношеское воображение дорисовывает по этим поэтическим намекам красоту Прекрасной Дамы. Нам, мне и Нине, конечно, немедленно хочется, чтобы наши мини-юбки стали хоть чуть-чуть длиннее, романтичнее.

Но все равно – мы дети своего века. Мы носим мини-юбки, бижутерию, говорим «раздевалка» вместо «раздевальная комната», «столовка», «кайф». Одновременно наши почтенные профессора (а раньше надо было сказать «профЕссоры») объясняют нам, что лексика каждого языка пополняется за счет сленга. И, в конце концов, сам Бонди состоял в том ОПОЯЗе, в котором был и Маяковский, самый яркий словотворец двадцатого века. А уж он-то отошел от канона так, что канона почти и не видно. Значит –да здравствует и сленг тоже! Это так смело и так раскованно!

Но мы не только дети сленга 50-60-ых – мы также и дети XX-го съезда, мы живем в период первой оттепели, и Хрущев уже сказал на всю страну о культе личности и о том, что нынешнее поколение советских людей будет

жить при коммунизме. Значит, это именно мы будем «строить и мечь в сплошной лихорадке буден». А «строить и мечь» в длинных платьях с замысловатыми прическами невозможно. Мода социальна. Но как все-таки жаль, что век красоты, декаданса и эстетизма ушел без возврата!

Все это (очень, правда, коряво), мы постарались объяснить своему профессору. Наверное, его позабавили наш объяснения. Бонди, без сомнения, был нашим любимейшим преподавателем.

Марина Ремнёва недавно вспомнила о нём то, чего я не знала: она рассказала : «Он вошёл в мою память не только как прекрасный лектор, свято веривший в свои творческие идеи: например, в то, что Вещий Олег на коне и змея –это символы власти и человечества... (В. Н. Турбин тогда, помню, очень смеялся), но также и в связи с одним очень опасным, по тем временам, эпизодом: помню, что Бонди хотели снять, а мы, студенты, написали письмо в его защиту. В те времена нам всем было страшно ставить подпись под таким письмом. Я боялась подписывать, но, подписала это письмо. Другие студенты тоже подписывали со страхом. И не все отважились».

А какими были мы, студенты, в смысле нашей внутренней жизни, наших воззрений, предпочтений?

Мы были разными: добрыми и злыми, умными и не очень. Но главное – мы были в чём-то – «хунвейбинами», правда, не осознавая этого (Маленькое отступление: недавно на лекции я употребила это слово: «хунвейбины». Оказалось, что сегодняшние восемнадцатилетние такого не слышали. И хорошо).

Мы были этими вышепомянутыми яростными существами, зажигательными комсомольцами, раз и навсегда уверовавшими в то, что и они сами, и их идеология – непогрешимы. Потому что «молодежь – барометр партии», и мы были убеждены тогда, что на общем комсомольском собрании можно решить все вопросы, в том числе – и личные. Это называлось – разобрать чье-либо персональное дело (например, заставить жениться, вынести выговор, осудить, исключить). Правда, наши жестокие

сердца можно было смягчить, если исключенный поработает годик на заводе и принесет хорошую характеристику с производства. Или, например, расплатится. Или – покается (только искренне, так, чтобы мы поверили).

У нас не разрешалось девушкам носить брюки, это считалось буржуазным, осуждали за это. Называли таких «стилягами». В фильме Валерия Тодоровского «Стиляги» хорошо показан ужас гонений на таких отчаянных и невинных ниспровергателей запретов. Против девушек, носивших брюки, «принимали меры». Стиляг мужского пола тоже преследовали и критиковали, как умели: выговоры, карикатуры в газете, разоблачающие стихи и пародии в факультетских и центральных газетах, по радио и по телевидению, высмеивающие сценки на праздничных студенческих вечерах.

Запрещалось после одиннадцати вечера оставаться в комнатах общежития, если ты в гостях. Заграничная одежда тоже не приветствовалась, так же как и джаз. Но он всё равно звучал в наших общежитиях. Кому-то это не нравилось («Ты – «не наш человек», джаз – это буржуазная музыка, была даже песенка: «сегодня ты играешь джаз, а завтра – родину продашь»). А как я любила «Серенаду солнечной долины»!

Но всё же ветерок первой оттепели разрушал постепенно часть запретов.

На факультете училось уже много иностранцев – посланников дружественных компартий. Они были немного иначе одеты, привезли с собой пластинки Элвиса Пресли, записи самбы, румбы, ча-ча-ча. Мы поначалу не умели танцевать под эту музыку, но с восхищением смотрели, как итальянцы и югославы исполняли рок-эн-ролл, и еще что-то, немыслимо раскованное, чуть ли не танец с кинжалами. А я еще в школьном кружке старательно изучала чинные бальные танцы – вальс-бостон, па-де-патинер, па-дэ-труа и па-д-эспань, полагая это совершенно необходимым для университетской жизни. Пришлось переучиваться.

Раскованные танцы – ладно, а вот дальше стало происходить нечто уж совсем немыслимое: некоторые вступали в браки с иностранцами!

К такой свадьбе стала готовиться и моя красавица сестра Женя (она училась на два курса младше). Руку и сердце ей предложил итальянец Бернардино (Дино) Бернардини.

Созвали общее комсомольское собрание курса, чтобы осудить мою сестру за её решение вступить в брак с иностранцем (хоть Бернардини и итальянский коммунист, и отец его – известный антифашист, а все же – кто его знает?). Во всяком случае, собирались всё-таки поговорить с невестой, вдруг откажется от своего выбора?

Женя, зная энергетику и пафос подобных мероприятий, на собрание не пошла. Однако попросила одного своего одноклассника, с которым дружила, Колю Рубцова, сказать какие-либо слова в свою защиту и, если получится, сбить яростный тон разоблачений со стороны самых активных критиков.

Коля был хороший друг, и сказал следующие слова, по-детски наивные, но самоотверженные:

-Вот вы все Женю осуждаете. А Тургенева читали? Зачем Елена поехала за Инсаровым в Болгарию? Да чтобы там делать вместе с ним РЕВОЛЮЦИЮ!!!

Аргумент был неожиданным и непререкаемым. Он сразил неприятелей наповал. Страсти поутихли. Экспорт революции! Как будущий Че Гевара! Это было романтично... Хотя, вряд ли есть на свете люди, менее приспособленные для революционных деяний, чем моя сестра.

Итак, первый тур в битве за идею был проигран. Тогда вызвали из Ульяновска, для сурового разговора, мою маму, Зинаиду Игнатьевну, в прошлом – пламенную комсомолку двадцатых годов.

Предстояло объяснение. Задача осложнялась тем, что непосредственно жениху высказывать какие-либо возражения не стоило, всё-таки он – посланец Итальянской компартии. Дело было тонкое. Предпочтительнее

всего было расстроить этот брак материнским несогласием. Вот для таких возражений и вызвали мою, как им казалось, провинциально-пугливую мать.

О, они не знали, что такое быть комсомолкой двадцатых годов из подмосковного поселка Железнодорожный. Например, они не знали, что такое состоять в комсомольской ячейке и любить «мещанского» поэта Сергея Есенина. Да еще и не отречься от него, когда тебя заставляют сделать это под угрозой исключения из комсомола. Да еще и спросить своих судей простодушно, читали ли они Есенина... Оказалось –никто не читал, но все равно осуждал –ведь в газетах про Есенина писали: «кабацкий поэт»! А газетчики всё знают совершенно точно. В ответ Зинаида почитала им наизусть «собаку Качалова», «Свищет ветер», покорно спросив: «ну, что тут может развратить?». Тогда, в 1923-ем году, ей удалось смягчить непреклонные сердца своих соратников по комсомолу и отделаться только строгим выговором, да еще приказанием снять со стены портрет поэта-«отщепенца». Она подчинилась. Портрет со стены сняла, любовалась им тайно. Ведь любить Есенина ей никто не мог запретить.

А теперь ее дочери хотят запретить любить итальянца-коммуниста. Ну, уж нет! Не в характере Зинаиды Тюриной, дочери Георгиевского кавалера, было подчиняться абсурду. В то же время она понимала, что это дело напролом выиграть невозможно.

Она хорошо подготовилась, и на первый же вопрос: «Как же вы так воспитали свою дочь, что она вот за иностранца собралась замуж, в капиталистическую страну поедет?», – моя мама, Зинаида Игнатьевна, ответила (надо заметить, что она участвовала в комсомольской самодеятельности города Железнодорожный, тогда – Обираловка – и умела произносить речи весьма пламенно, но правдиво, по системе Станиславского):

-Это я у вас хочу спросить, куда вы смотрели. Я-то вам ее сюда в Москву учиться прислала. Девочке в семье были привиты хорошие взгляды. Как же вы работаете с молодежью? Мы вам детей своих, можно сказать, доверяем,

надеемся на вашу воспитательную работу, а вы вон как. Что же это у вас за воспитательная работа? Это одна халатность, а не работа с молодежью.

Больше ее ни о чем не спрашивали. Отпустили с миром.

А вскоре Дино и Женя сыграли студенческую свадьбу.

Правда, не обошлось без сложностей. Дело в том, что Женя закончила филфак на год раньше, чем Дино. По закону, как замужняя женщина, она могла остаться с мужем, в Москве. Но наш отец сказал: «Нет, Женя, отработаешь государству за свое обучение в поселке, под Ульяновском».

Молодой супруг приехал к тестю, пытаясь его уговорить:

-Александр Борисович, ведь Женя может от распределения отказаться, как замужняя женщина.

Ответ был суров:

-Нет, Дино, это нам не подходит.

-Но ведь по закону она может остаться в Москве, жить с мужем, у меня комната в общежитии на Ленинских горах...

-Нет, Дино, это нам не подходит. Государство ее учило, она должна отработать...

Пришлось ему вернуться в Москву ни с чем. А Женя поехала на год учительствовать в посёлок Вешкайму, Ульяновской области.

Это был интернат для неблагополучных детей. Дети полюбили ее. Она делала с ними теневой театр, рассказывала про Москву, у нее была ангельская внешность. Целый год на уроках труда они, под ее строгим присмотром, вырезали фигурки для показа спектакля «Кот в сапогах», наклеивали их на картон. Работа требовалась филигранная. Но в конце года была премьера. Кукловодами были сами дети. В тот день весь интернат был счастлив.

Одно только ребят не устраивало: карманы на пальто доброй и красивой учительницы из Москвы были слишком, по их просвещенному мнению, большими. А все непривычное попадало под слово «стиляга». Со стильягами

боролись по радио. А тут – у преподавательницы – стилижки карманы. Да еще у любимой преподавательницы!

С этим необходимо было бороться. Чтобы вернуть ей человеческий, вешкаймский, облик, все средства были хороши. Можно было даже «нечаянно» попасть снежком по карману.

Но один мальчик, очень сильно привязавшийся к московской учительнице, решил действовать методом просьбы и убеждения. Во время ежедневного гулянья он устраивался на заборе и два часа, без остановки, с высоты своей позиции, убеждал:

- Явгень Ляксанна, а, Явгень Ляксанна. Вы утпорите карманы-ти, а?

Как тут не вспомнить выражение А. И. Герцена: «Любовь, господа, гораздо догадливее ненависти?». Он не кидался снежками, он – убеждал и тем самым оберегал от опасности прослыть стилигой, погубить себя в общественном мнении станции Вешкайма.

Однажды чья-то сдавшая в интернат своего ребенка мама позвонила ему откуда-то. Это было диковинное событие. Весь интернат сбежался в фойе посмотреть на счастливого, чтобы присутствовать при эпохальном сюжете.

Больше, в течение года, никто из близких детям не звонил и не появлялся.

Моя сестра никогда не жалела о суровом решении отца, позволившего ей послужить, хоть немного, обездоленным детям.

Но все равно, год закончился, наступил срок расстаться с интернатовскими детьми, с поселком, с другими молодыми учительницами, приехавшими в Вешкайму по распределению, после окончания Ульяновского пединститута.

Их она тоже всегда помнила. Их преданность детям, фольклорные изыски, знание народных этикетов. Например, если вслед за тобой идёт парень, желающий познакомиться, следует гордо продекламировать, почти не глядя в его сторону: «Не подкашливай рублями, своя трёшница в кармане».

...Впереди у неё была Италия, рождение сына Марка (теперь живет в Москве, билингва и синхронный переводчик). Конечно, хотя она и закончила отделение русского языка и литературы, в Италии она в совершенстве выучила итальянский язык и, вернувшись в Москву, стала переводчиком в издательстве «Прогресс», преподавателем итальянского языка.

С самого первого посещения аудиторного корпуса МГУ на Моховой появилось обстоятельство, которое тревожило мою душу.

Это была малозаметная табличка из черного металла, висевшая у входа в так называемый «новый» корпус МГУ. Она оповещала, что здание построено в 1833-36-ом годах архитектором Евграфом Дмитриевичем Тюриным. Фамилия моей матери тоже была – Тюрина. Только много лет спустя, занимаясь родословной и найдя общих родственников, я установила, что отец Евграфа Дмитриевича, архитектор, «вечноотпущенник» фрейлины Измайловой, Дмитрий Андреевич Тюрин – наш общий предок. Евграф Дмитриевич Тюрин приходился родным братом моего прямого предка Леона Дмитриевича Тюрина. Кроме Университетского корпуса, церкви Св. Татьяны и библиотеки при нем, Евграф Тюрин выстроил Богоявленский храм в Елохове, возвёл собственный дом на Знаменке, 5, где сейчас... галерея А. Шилова (В прошении Тюрин написал: «дом сей будет украшением Боровицкого холма»). Он восстанавливал Архангельское, Демидовский дворец (ныне –Президиум Академии наук). Еще до братьев Третьяковых Евграф Тюрин пытался подарить Московскому Университету уникальную общедоступную галерею из своей коллекции.

Коллекция его состояла из 415-ти картин «всех художественных школ Европы» Но, видимо, эта демократическая идея опережала свое время – место для галереи не было выделено. Обо всём этом я написала в монографии «Евграф Тюрин, архитектор и коллекционер», вышедшей в 2005 году в Издательстве УРАО.

Отправляя меня и сестер учиться в Москву, мама говорила, что в Москве даже воздух дает образование. Я потом часто вспоминала её

высказывание. Этим «воздухом образования» для меня, кроме МГУ, были сами москвичи, московская история, которой дышат улицы, храмы, дома, музеи, выставки, архитектура, экскурсии, даже мемориальные доски и брусчатка мостовых. Но прежде всего – друзья, однокашники. Общение с ними дарило самые различные открытия жизни.

Помню, например, Аню Масс, дочку известного театрального сценариста Владимира Массы. Она училась на заочном, мы познакомились и дружили. Она жила в знаменитом Вахтанговском доме, в Левшинском переулке. Анна доставала мне билеты в Вахтанговский театр и рассказывала чудесные «Вахтанговские» истории из 20-ых годов. Например, как в голодной и холодной Москве тех лет актрисы студии, боготворя своего режиссера Вахтангова и зная, что ему нравятся их наряды типа «черная юбка и белая блузка», ухитрялись каждый вечер кипятить в золе свои единственные белые кофточки, крахмалить их, а утром – гладить горячим чугуном утюгом с раскаленными углями внутри. Да что там блузки! Как рассказывала Анна – прикажи он только броситься из окна – все бы и бросились. Такое было отношение к кумиру.

Дочка известных кинорежиссеров-документалистов Марина Челакова, тоже заочница, рассказывала мне о киносъёмках, водила на выставки импрессионистов – с тех пор это мое непреходящее увлечение. Про напившихся молодых людей Марина говорила: «натюрморт». Это выражение мне казалось словесным изыском, которым щеголяли истинные москвичи еще со времен по-своему раскованного серебряного века. Хотелось тоже сказать кому-нибудь небрежно: «натюрморт». Но было некому.

Оксана Кручинина, моя одноклассница, приглашала в свою уютную, по-московскому гостеприимную квартиру - они жили на Миусах, в Доме Композиторов. В этом доме всегда звучала музыка (тихая или – громкая, смотря на каком этаже играли).

Саша Балинов (из моей 6-ой группы) неустанно агитировал нас посещать выставки, объясняя, что если пройти по студенческому билету –

то почти даром. Расход, вроде, небольшой, а образовательный эффект - огромный

Света Митина приглашала в свой дом – рядом с кинотеатром «Ударник», позднее его называли «дом на набережной». Ее отец был известный академик философии. Их квартира поражала мое воображение своим масштабом, мягкой мебелью, обитой черной кожей, и огромными книжными полками. Строгость и громоздкость казенной мебели в их квартире напоминала мне интерьеры известных картин и фотографий на тему «Ленин в Кремле». Библиотека была огромна, и Света давала подружкам любую книгу домой. Правда, взрослые велели ей вести запись «абонентов». Ведь книги были в огромном дефиците, по Москве даже ходили стишки: « Не шарь по полкам жадным взглядом, здесь книги не даются на дом. Тот безнадёжный идиот, кто на дом книги раздаёт».

В их огромной квартире, по моде тех времен, кухонка была крошечная. Но – в ней стоял небольшой рефрижератор (диковинка тех лет! Я впервые такое увидела), а в нем – продукты из так называемой «кремлевки», и даже – готовые обеды оттуда же. По необычайно низкой цене – на всю семью и даже – на гостей – хватало. Их брали по талонам из «кремлевской столовой», филиал которой находился здесь же, рядом, в подвале гастронома, кажется. Света угощала меня сервелатом, а это была уж подлинная диковинка.

Много позже, уже в 80-ых, мой однокурсник Дмитрий Урнов расскажет мне, как он был на конференции любителей фантастического романа - предостережения Дж. Оруэлла «1984» и повести-предостережения «Скотный двор». На конференцию собирались, кажется, раз в пять лет, - обсудить, что же сбылось в СССР из предсказаний писателя. Много сбывалось, но в такую из ряда вон выходящую практику, как распределение продуктов, никто из иностранцев поверить не мог. Почему в XX-ом веке кто-то на правительственных «чайках» («чайки – это были машины для крупных чиновников, они присылали шофёра), или – на более скромных машинах – спешит в закамуфлированный, отделанный керамической плиткой, подвал за

финской колбасой и копченой рыбой, маринованными огурцами и красnodарским чаем? Ведь на Западе это без проволочек может купить каждый клерк?.. А здесь вот –на правительственных «чайках»...(По этому поводу однажды пошутил писатель Леонид Лиходеев: «Слетаются голодные чайки»).

Но Урнов, зная, что именно эти из ряда вон выходящее подвалы с продовольствием «для избранных чиновников» существуют в СССР,- на фоне пустых прилавков в обычных магазинах, - ждал дискуссии... Ждал с ужасом, ибо, по Пушкину (см. письмо Вяземскому, май 1826г.): можем сами ругать отечество, но нам досадно, когда это делает иностранец. Помощь пришла, откуда он и не ждал. Самый яростный из нападавших иностранцев вдруг громко заявил: «Такого не может быть. Это, наверное, единственное, в чем Оруэлл ошибся!». Вот как бывает.

Друзья приглашали нас в общежитие на Стромынке, на концерты артистов Большого театра. Это было незабываемо.

На сцене студенческого клуба на Моховой играли актёры Вахтанговского театра и театра им. Моссовета. Блистали легендарные Мансурова и Марецкая.

Здесь же я увидела первый в моей жизни капустник, очень смешной для наших пятидесятых: сюжетом его был... не удивляйтесь...советский стриптиз!

На сцену выходила симпатичнейшая, по русской моде – русая и крепко сбитая (коня на скаку остановит), девушка. Все, как положено – валенки, телогрейка, шапка-ушанка.

Звучала несколько развязная музыка. Девушка одаряла зал обаятельной, неотразимой, но всё же – извиняющейся улыбкой, на ходу делая несколько скованных па. Правда, с небольшим, но – тоже извиняющимся, намеком на развязность.

Затем, как бы нехотя, она скрывалась за ширмой. Музыка звучала всё призывнее и все громче. Публика видела, как эта невидимая стриптизерша

вешала на кромку ширмы, один за другим, элементы своей одежды. Саму девушку не видать. Только – свешиваются ватник, шарф, ушанка. С краешка ширмы, на полу, невидимая рука артистки выставила валенки. Музыка гремит. Это – кульминация. Затем так же невидимо происходит одевание. Зрители – в курсе процесса, так как вещи исчезают в той же невидимой последовательности.

Наконец, – заключительные аккорды, и улыбающаяся, обаятельная стриптизерша, в полной прежней амуниции, выходит из-за ширмы. Она удаляется все с той же привлекательно-призывной улыбкой и скованно-несмелыми па, не лишёнными претензий на отчаянную смелость..

С тех пор и я научилась делать капустники.

А в 1957-ом году знаменитый французский актер Жерар Филипп (вечно молодой Фанфан-Тюльпан) приехал в Москву, в составе кинематографической делегации Франции, на фестиваль французских фильмов. Какие очереди за билетами мы выстаивали, чтобы посмотреть на Даниэль Дарье, на Симону Синьоре, и, конечно же, на него, на неповторимого, божественного Фанфан-Тюльпана! А он... Он побывал в ЦУМе, удивился нашему «ширпотребу», купил грубоватых женских ночных рубашек и другого сногшибательного женского белья, рассчитанного на наши морозы и еще – на послевоенную нашу бедность... А потом устроил в Париже выставку всего этого. О, напрасно и неосмотрительно он это сделал!

Да откуда же ему было знать о разящем русском народном юморе? Вспомним Гоголевское: выражается крепко русский народ.... Вот народ и выразился: с тех пор самая теплая принадлежность дамского туалета, рассчитанная на тридцатиградусные морозы, с начесом из байки, называлась, ни много ни мало – жерары. («Вот вчера купила себе в ГУМе жерары»). Правда, это время подобных товаров – ушло, как вздох. А блестящее имя блестящего актёра оказалось прикованным к высмеянным им шедеврам советского «десу».

Помню ещё, как однажды в клубе на Моховой был вечер, на который все стремились попасть. Это был визит редакции французской коммунистической газеты «Юманите». В составе делегации были Эльза Триоле и Луи Арагон, а сопровождала их таинственная Лиля Брик, вошедшая в наши сердца вместе со строками Маяковского: «Лиличка! Вместо письма» и еще - «Если я чего написал, если чего сказал,- тому виной – глаза-небеса, любимой моей глаза: круглые, да карие, горячие до гари...». Я почти ничего не слышала, о чем говорили, все разглядывала Лилю Брик. Помню только один вопрос из зала: «Почему в Вашей коммунистической газете «Юманите» так много, по буржуазному образу и подобию, – рекламы? Помню и ответ: «А потому, что надо кушать». Это было мало понятно в те времена: «Разве можно, – думали мы, – желание «кушать» осуществлять путём печатания пошлого рекламного буржуазного текста?» Но как все изменилось – реклама нас теперь буквально преследует.

А тогда... Вот Она, «Лиличка вместо письма», сидит почти рядом. Божество Маяковского. Рядом со мной!

О том, что появлялось и другое божество, нам пока знать было не положено. Но очень скоро ветер оттепели принесет нам это познание. На вечерах декламации, которые стали устраивать двое наших любителей этого жанра – Валентин Непомнящий и Алла Бирюкова, прозвучали доселе не публиковавшиеся в Советском Союзе стихи Маяковского «Татьяне Яковлевой». Валентин Непомнящий вскидывал копну своих черных кудрей и, обжигая публику своим горящим, синим, полыхающим взглядом, гордо читал:

Я все равно

Тебя когда-нибудь

Возьму!

Одну – или вдвоем

С Парижем!!!

Это было таинственно и требовало пояснений. Их не было, и оттого все воспринималось еще острее.

Алла Бирюкова читала Блока. Потом снова Валентин Непомнящий— он читал «Кёльнскую яму» Бориса Слуцкого: «О бюргеры Кёльна, да будет вам срамно! О граждане Кёльна, как же так? Вы, трезвые, честные, где же вы были, Когда, зеленее, чем медный пятак, Мы в Кёльнской яме с голоду выли?»

А потом Непомнящий неподражаемо и романтично пел: «Выпьем за Марикиту, дочь звонаря в Толедо, в танце – как ветер, в любви как пламя, лучше и краше девушки нет в Севилье, во всей Севилье». Это четверостишие, как раз, было для меня вполне приемлемо: почему же не похвалить девушку? Но последующий куплет казался мне совершенно надуманным и каким-то нежизненным: «Выпьем за Маргариту, дочь звонаря в Малаге, - та, что сегодня любит, конечно, лучше и краше той, что вчера любила, вчера любила...». Дело в том, что мои родители прожили в любви и восхищении друг другом более полувека, и именно подобные отношения были для меня нормой. А тут: «сегодня» или «вчера». Зачем петь про такое, неестественное?

Валентин проживает тоже в долгом и счастливом браке с моей подругой юности, талантливой актрисой и неподражаемой певицей Татьяной Ивановой, а песенку про Марикиту в упор не помнит, хотя я и пыталась ему ее напеть. Зато Алла Бирюкова все это помнит.

Некоторое время я тоже жила в общежитии на Стромынке, а на 5- курсе – на Ленинских горах. На Стромынке, в одной со мною комнате жила немка из ГДР Мария, очень добродушная и дружественная. Она удивила меня тем, что сказала однажды: « вот вы, русские, живете плохо, в коммуналках, но говорите: «А зато у нас в Москве – лучший в мире метрополитен». А нам это все равно. Для нас главное - как живет он лично».

Это поразило. И я в душе осудила такой подход. Как впрочем, и другой эпизод из её жизни. Мария встречалась с немецким студентом из другого

ВУЗа. Свиданье было назначено у метро Сокольники. А у нее заболел живот. Пришлось лечь в постель и никуда не идти. Но нас она предупредила:

-Девочки, приведите себя в порядок. Ровно через 20 минут Вальтер постучит в эту комнату.

-Как это?

-Ровно 10 минут он будет меня ждать. Потом сядет в трамвай и будет здесь: значит, пройдёт ещё 10 минут.

-Но почему так точно?

-Так положено.

Ровно через 20 минут в дверь постучали... Такая точность казалась мне неестественной... и неромантичной.

Удивила меня и соседка по комнате, студентка из Китая (сложное имя, не помню, а дневников тогда не вела). Когда приехал Мао-цзе-дун, он встретился в Актовом зале МГУ со студентами из Китая. В своей речи он сказал примерно так (в пересказе китайских студентов): «Советский Союз – наш старший брат. А старшего брата положено уважать и любить. А вы любите Советский Союз?».

В ответ все закричали:

-Любим! Любим!

Моя соседка кричала громче всех. И за это сам великий Мао пожал ей руку.

Взглянуть на её руку и пожать ее приходила вся китайская община. А сама счастливица объяснила мне, что теперь постарается как можно дольше не мыть эту самую руку. Хоть бы и год.

Однажды кто-то из китайских студенток угостил меня особой икрой из присланной родственниками консервной банки: каждая маленькая икринка была нафарширована какой-то пряностью. Я подумала о необычайном трудолюбии и искусности китайских людей.

Время шло. Наступила пора распределения. Оно было жёстким для немосквичей. Иногородним предложили ехать преподавать русский язык и

литературу в узбекские кишлаки. Я сказала комиссии, что должна остаться в театральной студии, которая вот-вот станет театром (мы, студийцы, наивно верили в это). Комиссия неожиданно разрешила. Наша студия, правда, вскоре распалась, и я стала играть в Студенческом театре МГУ. Туда пришёл Марк Захаров и поставил пьесу Е. Шварца «Дракон», где я играла Эльзу. А потом – рождение дочери, редакторство, журналистика, преподавание.

II. Немного из моей «дофилфаковской» биографии

1941 год. Мне 5 лет. Мы живём в Лосиноостровской. Я хожу в детский сад. Это рядом, надо только перейти дорогу и пройти вдоль забора. Забор отбрасывает тень. Я смотрю на эту тень и мечтаю: пусть забор мне расскажет, а что же тут было раньше, кто здесь ходил и какие истории с этими прохожими случались? Загадка забора закончилась, когда началась война.

О войне мы узнали в воскресенье, 22 июня 1941 года. Помню, что цвела турецкая сирень. Взрослые были подавлены и взволнованы. На нас идут какие-то немцы. Что за немцы? Как идут – строим? Так же, как мы в детсаду? Эвакуируемся? Что это значит? Мы – уедем? Нет, надо увидеть всё. Вот спрячусь под террасой с игрушками вместе и – останусь, посмотрю.

Мне было непонятно, почему взрослые так расстроены. Ведь ясно, что мы их сразу же победим. Всех победим. Как в песне – «страна крепка – и танки наши быстры. Гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход...» Мы эту песню слышали по радио. Каждый день.

Мой отец не был призван в армию: еще в Гражданскую, четырнадцатилетним мальчишкой, он получил ранение и не подлежал призыву. Но он был крупным специалистом, служил в Наркомате Заготовок, и был послан со спецзаданием в Саратовское отделение – ответственным за заготовки кожи и меха для фронта. Так наша семья оказалась в Саратове, а позже – в Ульяновске.

Однажды его отправили на линию фронта, к Сталинграду. Готовилось Великое сражение, надо было развозить армейские полушубки и другие теплые вещи. От него 2 месяца не было ни слуху, ни духу. Мама думала, что он погиб или – пропал без вести. Она решила отдать меня и двух моих сестер, Лену и Женю, в детский дом, а сама пойти на фронт. Во-первых, искать отца, а во-вторых, считала, что не сможет прокормить нас в чужом городе, а в детском доме – накормят.

Но внезапно отец приехал. У него была рабочая хлебная карточка, а у нас – иждивенческие. Его норма хлеба была ненамного выше, но в общем котле это было существенно, и мы как-то выживали.

Хотя постоянно терзало незабываемое чувство голода. Мы, дети, бегали по улицам Саратова, искали и ели какие-то «каравайчики», плоды сорняков, пробившихся через асфальт. Однажды я увидела спрятанный в бельевом шкафу кусок белого хлеба. Вероятно, это был наш общий ужин. Но я не утерпела. Отщипнула одну крошечку, положила ее в рот. Надо было ни в коем случае не позволить себе быстро ее съесть. Пусть продлится ощущение довоенного вкуса! С этой целью я приказала себе дойти до угла нашей улицы и обратно с моей прекрасной и единственной крошкой хлеба во рту.

Между тем Саратов постоянно бомбили. Моя мама, как и другие женщины, старики и мальчики – подростки, дежурили во время налетов на крышах: если бомба упадет, надо ее обезвредить.

Во время бомбежек мы слышали сначала устрашающий вой сирены. Это был сигнал: «Немедленно всем укрыться в бомбоубежище!». Сначала мама отводила нас, детей, туда. А потом перестала. Решила, что травмировать страхом по ночам тоже опасно. А в бомбоубежища тоже попадали бомбы. Во время налетов светили проекторы, высвечивая вражеские самолеты, грохотали выстрелы зениток. Моя маленькая сестра Женя просыпалась, испуганно спрашивая: «Мама, что это?». Мама отвечала: «Спи, это дрова с машины сбрасывают». «А-а, дьова», - успокаивалась малышка и засыпала.

Все чаще и чаще мама уходила от нас на несколько дней. Это называлась – «окопная мобилизация» - надо было рыть окопы и противотанковые рвы на случай немецкого наступления. Ведь Сталинград близко, и там идут жесточайшие бои. Исход еще неясен. К тому же постоянно мимо Саратова и непосредственно в Саратов приходят санитарные поезда. Если раненых не определяют в Саратовские госпитали, то все равно, здесь же, на станции, им делают перевязки, переливания крови.

Мама услышала по радио объявление о наборе желающих для обучения на ускоренных курсах подготовки медсестер для последующей работы с ранеными. Она их закончила и стала дежурить на вокзале, принимая эшелоны, перевязывая раненых, делала переливание крови. Очень часто сдавала свою. Весила 42 килограмма. Ходила худая, как тень. Да еще однажды увидела рыдающую девчонку. Воры вытащили у нее из кармана продовольственные карточки на всю семью, на весь месяц. Она отдала ей свою карточку, скрыв это от отца. Потом весь месяц себя ограничивала в еде, чтобы нам больше досталось.

Маме удалось устроить меня и младшую сестру в детский сад. Хоть и скудно, но нас там кормили. Одна девочка даже угостила меня халвой однажды. Кусочек этой довоенной прелести я весь детсадовский день хранила в сжатой ладони – угостить маму. Но когда она пришла за мной, оказалось, что изысканный кусочек растаял, а напоминала о нем только серая липкая лужица в разжатой руке.

А однажды соседка с третьего этажа угостила всех детей «хворостом», который она испекла в честь выздоровления своей дочери от воспаления легких.

Помню, как нам всегда хотелось есть. Однажды мама водила Женю к врачу, и привела её в детсад чуть позже обеда, когда дежурные мальчики из её младшей группы убирали столы, вытирая их мокрой тряпкой. Желая показать свою лихость и якобы безразличие к «девчонке», они полоснули ей

этой тряпкой прямо по тарелке с супом. Она давилась слезами, но ела – голод выше соображений безупречной чистоты.

В детском саду я дружила с мальчиком по имени Павлик. Его отец сражался под Ленинградом. Однажды они получили «похоронку» - сообщение о том, что его отец погиб за родину смертью храбрых. С тех пор мальчик мог внезапно, во время игры, убежать в угол и плакать, никого к себе не подпуская. Но мне он разрешал себя утешать. Я обнимала его и говорила, ну, так, как все дети говорят: «Не плачь!».

А в Сталинграде разворачивалось величайшее сражение. Санитарных поездов было все больше. Отец решил переправить семью, под присмотром матери, через Волгу, в городок Энгельс. Может быть, нас, детей, придется увозить дальше, в тыл. Пусть тогда это делает мама, а отец останется в Саратове, исполнять свои обязанности. Но эвакуировать детей через Волгу надо заранее.

Так мы с мамой оказались в Энгельсе, бывшем центральном городке немцев Поволжья, откуда всех немцев, по приказу Сталина, однажды ночью схватили и поездом перевезли куда-то в Казахстан. Они жили здесь еще со времен Екатерины Второй. И вот, во время войны, их депортировали, опасаясь шпионажа или сочувствия Гитлеру. Выселили всех без разбора. Мы поселились в каком-то пустом покинутом деревянном доме, в большой комнате, вокруг были соседи, тоже приехавшие из разных мест люди. Уехавшие хозяева, видимо, почти ничего не смогли с собой взять. В комнате царили чистота, порядок и... красивейшая посуда, саксонский фарфор с нарисованными дамами в «кринолиновых» платьях, корсетах и в париках. Они качались на качелях или нюхали розу... Как это было далеко от всего, что творилось вокруг.

К нам приходили обедать девушки-зенитчицы. Мама где-то подружилась с ними. Их часть стояла под Энгельсом. Они были героини – сбивали пролетающие немецкие самолеты. Почему-то во время войны именно девушек брали в зенитчицы. Они приходили пешком из-за города,

им нравился нехитрый уют семейной комнаты, они ночевали, грели воду в печке, мылись у нас, гладили гимнастерки. Они приносили с собой чечевицу, а у мамы была кислая капуста, и мы устраивали пиры.

Девушки подарили мне портрет Марины Расковой, потому что эта легендарная летчица погибла где-то неподалеку от Энгельса, и они ее знали лично. Марина Раскова была красавица и героиня, поэтому я решила стать ею, когда вырасту.

Мама брала нас в кинотеатр, где каждый сеанс начинался с документальной военной хроники. Виселицы, расстрелы, пожары, зенитки, «катюши», пикирующие бомбардировщики. Было страшно, но мама говорила: «Не бойтесь. Мы победим». И вот однажды я услышала ее ликующий крик: «Ленинград освобожден ! Конец блокаде!!!» Это она сообщала соседям услышанное по радио сообщение Левитана.

Победа в Сталинграде!!! Мы снова в Саратове. Но почти сразу же нам предстоит отъезд в Ульяновск, туда командировали отца. Я прощаюсь с ребятами в детском саду, а Павлик дарит мне немецкую каску, пробитую пулей. Где он ее взял, не знаю. Но это, несомненно, царский подарок, который он оторвал от сердца. Ему так не нравится мой отъезд, что он куда-то прячется в последнюю минуту.

Ульяновск. Какой удивительный город. Здесь не было бомбежек. У каждого, кроме эвакуированных, есть огород, своя картошка вволю, всякие запасы сушеных яблок, моркови, соленых огурцов, свеклы. Это даже на рынке можно купить. А в Саратове цены были недоступные. Там только бесконечные очереди за одним кусочком коммерческого хлеба, стоишь за ним целый день, а на ладони у тебя – химическим карандашом нарисован номер твоей очереди.

Подойдешь, покажешь номер на ладошке, тебе положат на эту ладошку тонюсенький кусочек хлеба. Его там по-немецки называли – «кух». Сутками стояли. Но потом и эта роскошь кончилась.

Теперь мы в Ульяновске, и мама жарит нам картошку. Вернее, парит, на капельке постного масла и воде.

В городе три военных училища: танковое, пехотное, связи. Ускоренный курс обучения – и на фронт. Солдаты идут по улице Федерации с песней: «Пусть ярость благородная вскипает, как волна, идет война народная, Священная война!». До сих пор, когда слышу эту песню – мурашки по коже и – какая-то уверенность в победе.

Даже мы, дети, чувствовали перелом в войне.

К нам в класс приехала девочка, *Света ТАЯ*, она была дочкой военного. Ее семья какое-то время жила в городе Мозыре, только что освобожденном от немцев. Она рассказывала нам невероятные вещи. Например, что в городе были девушки, которые гуляли с немецкими солдатами под ручку, целовались с ними. А жители с ненавистью говорили про них: «немецкие овчарки». И вот одна такая «немецкая овчарка» присела с немцем на скамеечке и, шутя, ему сказала: «пан, дай мне наган». Он дал, а она его застрелила. Ее схватили и повесили. Все жители тайно оплакивали эту девушку.

Света спела нам песенку, которую многие в Мозыре знали, но напевали осторожно, чтобы их не арестовали за это:

Молодая девушка немцу улыбается,
Позабыла девушка про своих друзей.
Только лишь родителям горя прибавляется,
Горько плачут, бедные, без милых сыновей.
Сыновья их храбрые в армии сражаются,
Защищают родину, крепко немца бьют
А сестра бесчестная немцу улыбается,
Подожди, бесстыжая, будет тебе суд.

Вся наша школа собирала подарки для сетей Мозыря: ручки, самодельные тетрадки, карандаши.

И вот в Ульяновске развешаны новые плакаты: улыбающийся русский солдат натягивает новый сапог со словами: «Дойдем до Берлина!». Это означало, что не успеет солдат износить эту пару сапог, как Берлин будет взят.

И вот Берлин взят. Победа!!! Невозможно забыть этот радостный день. Все вышли на улицу, шли к центру города, покупали билеты в кинотеатр, а там крутили военные фильмы. У нас с сестрой Женей денег не хватило на билеты. Но все равно радость никого не покидала, это было чувство всеобщего восторга. День был пасмурный, с холодным, морозящим, майским дождем. Но какой он был светлый! С войны стали возвращаться солдаты. Много инвалидов. Лекарств не было. Им было очень тяжело, большинство из тех, кто получил травмы на фронте, не могли избавиться от своего нездоровья - не было лекарств, отсутствовало должное медицинское обслуживание. Страна сама была изранена.

Однажды к моей маме пришла незнакомая женщина. Она попросилась переночевать. Я видела, как она до этого долго стучалась к нашим соседям, которые ей не открыли, а хозяйка дома, к которой недавно вернулся с войны муж, кричала ей через забор, чтобы убиралась, откуда пришла. И всякое такое. Женщина рассказала маме, что приехала с Украины, где во время войны, с риском для жизни, прятала раненого красноармейца. Немцы вызывали ее в комендатуру, заставляли признаться, прижимали пальцы тяжелой дверью, раздробили кости, чтобы она призналась, где солдат. Она все выдержала и твердила: «нет у меня никакого красноармейца». Спасла его. Потом, выздоровев, после победы, он остался жить у нее, хотел жениться, но вдруг затосковал о прежней семье и вернулся в Ульяновск. Она – за ним. А он знать ее не хочет. Так ни с чем и уехала. Такие истории тоже бывали.

Мы выросли, но воспоминания о войне и Победе никогда не покидали нас. Потом, когда моя дочь Ксана, уже в своём студенческом

возрасте, смотрела со мной документальное кино о войне, она сказала: «Не представляю, как люди могли это выдержать».

Я училась в школе, которая когда-то была женской гимназией В.В. Кашкадамовой. Её окончили сёстры Ленина. А напротив – здание мужской гимназии. Здесь учился сам Ульянов-Ленин, а параллельно с ним – А. Керенский. Эта школа и в мои времена – мужская. Мы ходим туда на вечера. Танцуем танго и вальс-бостон. Потом – новое веяние. Женские и мужские школы объединяют. Жить стало интереснее. Но вот в руках аттестат. И я – в Москве. Иду сдавать свои документы в МГУ. На филфак. Прямо в белом выпускном платье.

(Эта история записана с моих слов моей внучкой Камиллой)

III. А теперь предоставим слово моей филологической семье:

Моя дочь Ксения Львовна Митрохина:

В 1987 году окончила романо-германское отделение филологического факультета МГУ, кафедру истории зарубежной литературы. Кандидат филологических наук. Член Союза журналистов РФ. Переводит с французского и итальянского языков (с итальянского – синхронно), преподает, автор научных публикаций и журналистских статей (например, в журналах «ГЕО», «Медиация и право» и др.). Участвовала в международных семинарах и конференциях по литературоведению.

В 90-е годы занималась вопросами отражения стереотипов массового сознания в детской литературе (статьи "Массовый мультфильм и структура ролевого взаимодействия", «Страна ОЗ в Стране Советов»). Обе работы опубликованы. С докладом, посвященным структуре изъятий и добавлений в советской версии «Страны ОЗ» («Волшебник изумрудного города») выступала на ежегодной конференции Modern Language Association в США, в 2000 году. Доклад на тему о ролевых взаимодействиях в детском сериале «Ну, погоди» сделала на международной конференции в Москве. Затем, исследуя стереотипы и массовые представления на материале рядовых литературных публикаций в российских женских журналах начала XX века, заинтересовалась этим сектором журналистики как таковым; тема ее кандидатской диссертации: «Эволюция и типология российской женской прессы в 1779 – 1861 гг.». Её научные публикации по русистике в 2003 – 2009 гг. посвящены гендерным характеристикам советских женских журналов, журнальной полемике о дамском чтении конца XVIII – начала XIX веков, и т.д. У нее есть способность находить в маргинальных, частных темах

отражение значимых культурных закономерностей. Ее статьи в популярных журналах разнообразны и носят культурологически-просветительский характер: пишет о культах карго и средневековых обрядах замирения, о клятвах и «божбах» в экзотических культурах; ее последняя статья в «ГЕО» посвящена чудом уцелевшей в сегодняшнем Крыму итальянской общине – потомкам лоцманов и огородников, прибывшим, по приглашению российского правительства, в середине XIX века с Юга Италии и оказавшимися вовлеченными в страшные перипетии нашей истории... Недавно ей удалось взять эксклюзивное интервью у дочери Ф. В. Шалапина – Марины Фёдоровны Шалапиной.

Сейчас Ксения читает курсы лекций по зарубежной литературе и культурологии в Институте Журналистики и Литературного творчества, в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, переводит, дает уроки иностранных языков – и постоянно сокрушается, что не может уделять филологической науке ВСЁ своё время. При этом постоянно говорит, что бесконечно обязана нашему факультету, что именно полученное на филологическом факультете МГУ образование позволяет ей заниматься тем, что ей интересно.

Однажды, в 1989 году, родилась моя внучка Камилла.

В 1989 году родилась моя внучка Камилла.

Сейчас она - студентка романо-германского отделения филфака МГУ, занимается литературой и культурой стран Латинской Америки XIX-XX веков, интересуется историей европейской культуры, говорит на испанском, португальском, каталанском, английском языках и принимает участие в создании первого учебника в России по языку трубадуров (под руководством профессора Т. Б. Алисовой).

Сейчас она – студентка романо-германского отделения филфака МГУ, говорит по-испански, жила в 2008 году месяц в Испании, в Барселоне, в 2009 – прошла стажировку в университете г. Витория (Страна Басков), учит каталанский и португальский. Сочиняет слова и музыку к своим авторским песням, исполняет их в собственном музыкальном сопровождении, выступала на радио (радио "Культура", "Звезда", передача "Лаборатория"), на телевидении и разных фестивалях, занимается литературой и культурой стран Латинской Америки, для этого побывала в Эквадоре. Интересуется европейским Средневековьем, принимает участие в создании первого учебника в России по языку трубадуров (под руководством профессора Т. Б. Алисовой).

А до этого так рассказывала о себе:

КАМИЛЛА: ответ на школьную анкету психолога, 8класс

(смысл анкетирования: продолжить выделенные слова по первым возникшим ассоциациям)

Я – мышь. Когда мне что-то нужно, я прогрызаюсь к своей цели.

Я как буква О, тянусь уже 13 лет.

Я – макаронина, меня размочил дождь.

Я – светлячок, светлячки – как души, и у меня она одна.

Я чувствую себя вкусным завтраком, когда просыпаюсь после гостей. Вкусный завтрак – это кропотливо нарезанные, истертые, нашпигованные предметы, и я так же чувствую себя перемолотой и истертой.

Я – словно птица, и, когда вырасту, отращу крылья и буду птицей по настоящему.

Я – тигр, когда злюсь.

Я могу быть ветерком, когда я одна. Такая же переменчивая.

Я – словно муравей, когда выхожу в город. Это очень большой мир.

Я – стакан воды, потому что вода – одна из самых вольных стихий. Порой она смертоносна, а порой гипнотизирует спокойствием.

Я чувствую, что я – кусочек тающего льда, когда мне холодно.

Я – прекрасный цветок, потому что все люди прекрасны, каждый по своему.

Я чувствую, что я – скала, когда я читаю. На мне отражаются события книги.

Я сейчас – лампочка, потому что предпочитаю тратить электричество, но светиться.

Я – тропинка, потому что меня еще не превратили в дорогу. Просьба не асфальтировать.

Я – как рыба, когда общаюсь с теми, с кем незнакома.

Я – интересная книга. На моих страницах – история моей жизни.

Я – песенка. Ультразвуковая.

А вот её поздравление мне на моё семидесятилетие (выложила в своем интернет-дневнике):

Я бы хотела поздравить мою бабушку Софью Александровну Митрохину.

Недавно у моей бабушки был юбилей. Моя бабушка- легендарная личность и мой идеал. Она издавала в СССР первые книжки зарубежной фантастики и зарубежного детектива, играла в Студенческом театре МГУ а, позже, воспитывая всех детей нашей семьи (моя двоюродная тетя, мой двоюродный дядя, моя мама, я, мой брат), создала нам потрясающее детство, наполненное волшебством, игрой и сказками. Она удивительно читает вслух, и любой текст с ее голосом приобретает особую сказочность, атмосферу, независимо от того, инструкция это к стиральной машинке или Шарль Перро.

Она очень красивая, и ярче всего эта красота светит, когда бабушка очень

обрадована. В чем-то черты ее лица неуловимо схожи с портретом ренуаровской актрисы Жанны Самари. Она невероятно энергичный человек, и в нашей семье она самая быстрая и предприимчивая. Кроме того, она взяла на себя роль эдакого семейного летописца (и бухгалтера): благодаря ей время от времени мы узнаем о себе удивительные вещи. Более обаятельной женщины, у которой всегда все было бы хорошо, которую никто и никогда не видел в плохом настроении, я не встречала никогда. Она постоянно всем что-то дарит, и это настоящая катастрофа: как Анне Ахматовой, ей невозможно ничего подарить - передаривает, из самых лучших чувств. Она в курсе всех дел и всегда готова помочь. Всегда находится в действии, и все у нее всегда получается - вовремя и наилучшим образом. Самые большие усилия по воспитанию детей в нашей семье она приложила ко мне и в чем-то заменила отца. Когда я была маленькой, она между делом, как некий anecdote, после обеда или на автобусной остановке, рассказывала мне кусочками "Мастера и Маргариту", русскую историю, постоянно цитировала Пушкина, а дома читала, играла, ставила спектакли, приносила игрушки, конструкторы, кассеты, видео, диафильмы, стояла надо мной с прописями и примерами, записывала меня во все кружки, в какие мне хотелось, подсовывала книжки, постоянно направляла вперед и вверх. Находила преподавателей, с кем-то договаривалась, утрясала мои графики, следила, чтобы меня нигде не обидели, обеспечивала всем, о чем бы я ни подумала. Она сыграла главную роль в формировании моего мироощущения, и я не знаю кого-либо, лучше подстраивающегося под окружающих и окружающий мир, кого-либо более дипломатичного и тонкого. Бабушка любит Маркеса и Торнтон Уайдлера. Обожает черный хлеб и карамельки "Гусиные лапки", думает, что не любит сладкое и мучное. Любит актрису Одри Хепберн, потому что считает, что моя мама на нее похожа.

Сколько я ее помню, она постоянно стремилась сделать как можно больше добра окружающим людям - семье, друзьям, коллегам, студентам, и никогда не делала этого ради какой-либо выгоды или интереса. Для нее делать добро – так же естественно, как дышать или ходить. И всем людям, которых я встречала, я в глубине души желала, чтобы около них когда-нибудь рядом был такой человек, как моя дорогая, любимая бабушка – феерическая леди.

Мой внук Кирилл чётко формулирует свои детские мысли, а это значит: во-первых, что у него есть чувство слова, и, во-вторых, что мне, как филологу, по примеру К.И. Чуковского, пришлось вести записи типа «ОТ ТРЕХ ДО ПЯТИ». Итак:

2003 год, ему 5 лет

Я КАК-ТО СКАЗАЛА ЕМУ В ШУТКУ: «Я – красавица» Кирилл–МНЕ:

« Да нет, это просто твое воображение...».

* «РАСТЕНИЯ – это искусство, которое помогает человеку жить».

ИГРАЕМ В ШАХМАТЫ. Кирилл говорит:

«**КОРОЛЯ** – не ставим, он пусть в коробке остается и всякими сладостями наслаждается... А то ведь короля всегда убивают – жалко».

* В **ИГРЕ** : «Волк упал на камни, и у него в голове случилось землетрясение»...

*« Они случайно написали СОС – а это значит: «Убейте наши души»...»

*«Дракон прочел и сказал: «О, Боги! Теперь мы обречены!».

Я: «Твой конь сломался и не может скакать»

Кирилл: «Может, потому что у него внутри сидит ученый».

* «Гиены – это собачьи друзья, но они все вымерли»...

*«Он хотел рассказать детям сказку, чтобы они отвлеклись, а взрослые могли пойти на работу».

* «Они были злые, а пристроились, как будто они добрые»...

2004 год.

Я: « Кирилл, тут один мальчик злой! Что делать?»

ОН: «Переоденься в Деда Мороза, положи ему подарок на стол, он и поподобрет!»

Я: «Кирилл, скажи, как там твои пленные пираты питаются?»

ОН: «Плохо, только бутылкой рому».

*«Это у меня плохая мысль, я ее сейчас раздавлю»

*«Я хочу нарисовать свое будущее».

Я: Кирилл, ты совсем ничего не ешь. А как ты вырастешь? Вот будешь маленьким, слабым. Девочки в классе, наверное, и то выше тебя.

ОН: Да нет. У нас маленькие девочки. (Показывает рукой до пола.): Вот такие. Как мыши. (Показывает рукой еще ниже): -Как лепешки.

ИГРАЕМ. Как будто мы в Антарктиде. У кибер-пингвина.

Я: Тут налетели другие кибер-пингины и оказались злые.

ОН: Нет, не так, не надо, чтобы злые. Они добрые. Ведь они же русские. А русские – значит, добрые.

* «Путешествовать – это увидеть кой-какое чудо»

2005 год. Кирилл во 2-ом классе. Ксана ведёт его в школу. На дорожке прыгает воробей. Кирилл: « А воробей похож на кролика...». Чем? – «Прыгает, как кролик».

-**Пишет письмо Паше** (на компьютере): «Я тебя огорчу, но я на уроках не отвечаю. Я стесняюсь. Но я стесняюсь не как девочка, а как мальчик» (это ответ на мои поддразнивания: «стесняешься, как девочка»).

*-Наше правительство заботится только о взрослых (смотрит в окно): им вон какие большие дома выстроило, а детям – только вот такую маленькую площадочку...

*Смотрим на видео «ЕРАЛАШ»: там девочки в бантиках ехидничают.

Кирилл: «Девчонок-то я, конечно, обожаю»...

2006 год: Делаем уроки. Я что-то объясняю по русскому языку. **Кирилл** говорит: «Всё равно ты знаешь меньше, чем учительница Наталья

Васильевна. Но не огорчайся. Знаешь поговорку? Кто много будет знать, тот скоро состарится. Вот она и состарилась, а ты – нет» (мне – 70, а ей – лет 45).

2007 год.

Собирается в гости, там – три девочки . Ему говорят об этом. **Кирилл** отвечает:

«Три девочки – это хорошо. Это повысит мой рейтинг».

Кириллу купили аквариум. Мама велит делать уроки, а то скажет рыбкам, что он плохой, не делает уроки. Кирилл бежит к рыбкам и, наклонившись, шепчет прямо в аквариум:

-Рыбки, я – хороший, я уроки делаю.

2008 год.

«С кем поведёшься» ... - говорит ему его сестра Камилла ... «От того и убежишь», - продолжает **Кирилл**.

2009 год. Мама говорит ему в метро: «Прекрати читать. Зрение портится. Видишь, никто не читает». **Кирилл**: «Им легко. У них нет моей наследственности».

*А на три курса младше нас учился студент из
Италии **Бернардино (Дино) Бернардини**.*

Это он женился на моей сестре. (Перипетии описаны мною выше). С 60-ых годов Дино, в качестве главного редактора, издаёт в Риме журнал под названием сначала «Советское обозрение» («Rassegna Sovietica»), а теперь – «Славия» («Slavia»). Приведу, с разрешения автора, его эксклюзивные воспоминания о филологическом факультете, опубликованные им в третьем номере журнала Slavia в 2005 году (продолжение печаталось и в последующих номерах):

Дино Бернардини
Из того, что вспомнилось

Первые дни сентября 1956 года. В Московском Университете им. М.В.Ломоносова, знаменитом МГУ, занятия, как и каждый год, начались первого сентября. Я был единственным и самым первым итальянским студентом в истории филологического факультета. Преподавание состояло из общих, фундаментальных лекций и спецкурсов, которые читали штатные профессора кафедр в Большой Аудитории. Кроме того, проводились семинарские занятия. На лекциях присутствовало около 300 студентов моего курса, а на семинарах для групп – по 10–15 студентов. Эти группы были очень похожи на наши лицейские классы. На лекциях студенты только слушали и кое-что записывали, а на семинарах велись обсуждения, давали

домашние задания, проводили опрос. На каждом семинаре был свой преподаватель. Мои знания русского языка были очень ограничены, и я с трудом понимал смысл лекций и обсуждений. Особенно неприятно было, когда профессор говорил что-нибудь остроумное, все мои товарищи смеялись, а я сидел молча.

В эти дни произошел один невероятно смешной эпизод, почти по Чаплину. Занятия шли уже 2–3 недели, как вдруг женщина в годах, куратор нашего курса, спросила меня, почему это я ни разу не присутствовал на занятиях по Военной подготовке, которые обычно происходили каждую субботу на двух последних часах. Мои советские товарищи были обязаны посещать их все пять лет обучения, и, кроме того, они каждое лето проводили один месяц в военном лагере. Надо сказать, что студенты были этому очень рады, потому что в конце пятого курса получали звание младшего лейтенанта запаса и освобождение от военной службы, которая в то время в России длилась три года. По правде говоря, я не ходил не только на Военную подготовку, но и на занятиях по физкультуре не был ни разу. (По этому последнему пункту у меня с куратором произошла дискуссия «лингвистического» характера. Дело в том, что на доске расписания занятий физическое воспитание действительно фигурировало, но рядом в скобках было написано «факультативно», а слово это я, естественно, знал гораздо лучше нашего куратора. Я сказал ей, что если занятия факультативны, то я предпочитаю на них не ходить. Ответ был такой: факультативный – значит факультативный, т. е. у нас – обязательный. Я ответил, что пока будет написано «факультативно», я туда не пойду. И так длилось все пять лет учебы).

Но ситуация по Чаплину, о которой я сказал выше, была не эта.

Упрекнув меня в пропусках занятий по Военной подготовке, куратор вдруг обнаружила какое-то замешательство и даже нечто большее, какое-то опасение, основания для которого я, ещё мало что знавший про жизнь в СССР, в тот момент не понял. Серьезным голосом, не угрожающим, а почти

сочувствующим мне из-за неприятностей, которые, как она боялась, я могу иметь в будущем, она меня горячо попросила пойти поговорить с преподавателем в следующую субботу.

Что я и сделал. Вместе со всеми моими товарищами мужского пола я вошел в аудиторию и, в ожидании преподавателя, принял участие в той обычной кутерьме, которая происходит в классах, когда преподаватель ещё не вошел. И вот входит полковник Советской Армии. Это и был преподаватель, почти лысый человек, лет пятидесяти. Тут же все стихло. Я поднял руку и попытался заговорить с ним, но он не дал мне сказать ни слова. Полковник развернул какой-то чертеж и прикрепил его к доске. Потом, водя указкой, начал его объяснять. Это был чертеж советского истребителя. Я понял, что надо что-то делать и снова попросил слова, но в ответ услышал только: «Молчать! Не вставать с места!». Уж не знаю даже, как мне это пришло в голову, но только я тоже крикнул: «Я солдат НАТО!». Надо было видеть лицо полковника, который тут же бросился к чертежу, закрывая его всем телом и широко распахнутыми руками. Испуганный, заикаясь, он спросил меня, что я тут делаю. Я ответил, что и сам хотел бы это знать. «Но вы не можете здесь находиться!» – «Согласен. Скажите, могу ли я выйти?». Вот так и закончилось мое первое и единственное занятие по военной подготовке, а также и моя карьера в Советской Армии.

Другой эпизод, если память мне не изменяет, произошел на первой общей лекции, где я присутствовал. Предмет назывался «античная литература», сюда входили история древнегреческой и древнеримской литературы. Курс читал Сергей Радциг, светило из дореволюционного ещё поколения, специалист по Древней Греции, но также и страстный поклонник Рима, который Радцигу ни разу не удалось посетить. После лекции я спустился в вестибюль, чтобы взять пальто, и тут произошло нечто такое, из-за чего я оказался в центре всеобщего внимания и чего я никогда не забуду. Видимо, кто-то из студентов, окруживших Радцига после лекции, сообщил ему, что на нашем курсе в этом году появился студент-римлянин. Что тут

произошло! Сергей Иванович бросился к лестничной площадке над вестибюлем и принялся кричать: «Эй, римлянин! Эй, римлянин!». Читатель должен знать, что в те времена Советский Союз только-только начал открываться Западному миру (после длинной сталинской ночи) и что в советские времена, целыми десятилетиями, единственными «римлянами», о которых могла идти речь, были римляне Древнего Рима. Во всяком случае, возглас профессора был понят студентами, толпившимися в вестибюле, как если бы он прокричал: «Эй, древний римлянин!». Я находился в студенческой толпе, но не понял, кого ищут и что происходит. Никто меня не знал, все были в недоумении: уж не сошел ли с ума старый Радциг?! Наконец, кто-то из студентов понял, что Сергей Иванович Радциг имел в виду меня и указал мне на профессора, стоявшего на верхней ступеньке лестницы. Когда я подошел к нему, он принялся забрасывать меня вопросами: я прямо из самого Рима? как далеко мой дом от Капитолия? а от Колизея? Он назвал ещё несколько мест столь любимого им Рима, «вечного города», который он так хорошо знал и которого никогда не видел. Он заметно волновался, глаза его увлажнились. Это было первое проявление горячего ко мне чувства на филологическом факультете МГУ.

(Перевод с итальянского Евгении Бернардини)

Мне остаётся добавить, что сын Дино и моей сестры Жени – Марк Бернардини – синхронный переводчик с итальянского, сейчас живёт в Москве, а его пятилетняя дочь Верочка наверняка поразит филологический мир своими изречениями. Моя племянница Катя Левина, дочь моей сестры Жени, тоже окончила филологический факультет МГУ (отделение русского языка и литературы), вышла замуж за итальянца, живёт в Риме и помогает некоторым жителям «вечного города» изучать наш великий русский язык.

Вот так отразился филфак в жизни моей семьи.

СПРАВКА ОБ АВТОРЕ СТАТЬИ: Митрохина (Пикман) Софья Александровна. Кандидат филологических наук, доцент, член Союза журналистов России. Работала редактором в издательстве «Молодая гвардия», заведовала редакцией «Лицей на Чистых прудах» в издательстве «Московский рабочий» и редакцией рекламы там же. С 1997 года преподаёт в Московских ВУЗах. В настоящее время – преподаёт в Институте иностранных языков при МАИ, на кафедре связей с общественностью и массовых коммуникаций. Читает дисциплины по теории и практике массовой информации, коммуникации, PR, рекламе. Преподаёт также в РУДН, на филологическом факультете (кафедра теории и истории журналистики). Автор монографии о Евграфе Тюрине, архитекторе здания МГУ на Моховой, д. 11, автор книг, статей и радио- и телепередач о литературе, театре, кино и истории Москвы.

Тел.: 8 926 115 48 60